

ЭКЗИСТЕНЦИЯ: ЗАБЫТЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬ

М. А. ПРОНИН

Отдаю себе отчет — рассмотрение Чернобыля как человеческой экзистенции, по крайней мере, неожиданно, если не чересчур смело. Но самонаблюдения и созерцание на протяжении 25 лет текущей жизни в Зоне и рядом помогают мне считать такую постановку адекватной. Не претендуя на полноту описания ситуации, да и своего видения.

1. Рванный фильм (вместо введения)

Следует понимать, что воспоминания участников — всегда «рванный фильм», извините за метафору из клиники алкоголизма: тут помню, а тут — не помню. Фильм рванный, но дело, конечно, не в памяти — у катастрофы совершенно разная природа и порода на различных этапах ее развития: начало, первые три дня, первые 10 дней, первые 3 месяца, первые полгода, второе ее полугодие. Второй год (1987-й) — отдельная конфигурация. Своеобразными были 1988, 1999, 1990–1991 гг. Антропологически — это совершенно разные катастрофы. И, к сожалению, долгожителей-ликвидаторов, прошедших от первого дня — от начала, — и до конца (а где он, конец?) практически нет.

Одно дело видеть аварию из зала управления четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), в пожарном расчете, другое — из кабины вертолета, с промплощадки, в рыжем лесу, из триплекса инженерной машины разграждения (ИМР), из бани, столовой... Это тоже разные аварии.

Не зря есть книги «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова и «Генеральный штаб в годы войны» Сергея Штеменко. Поэтому все воспоминания, воспоминания всех — чрезвычайно важны. Но ни единственной, ни главной правды нет, кроме общей правды — «беда», «подвиг», «помощь», «головотяпство» и «мерзость». А это, согласитесь, уже экзистенции.

Забегая вперед в своем рассказе, замечу, что и название-то того, что произошло, менялось. Не хочу обсуждать освещение в средствах массовой информации событий первых дней. Это отдельный счет к песне в исполнении тогдашних государственных мужей. Давно это было, но ничего не изменилось...

Так вот, долгое время то, что случилось в ночь на 26 апреля на ЧАЭС, официально считалось аварией, поэтому существовала аббревиатура ЛПА (ликвидация последствий аварии) на ЧАЭС. Но когда через пять лет был буквально с боем принят «чернобыль-

ский закон», произошедшее, наконец-то, назвали катастрофой. Пока существовал Комитет, занимавшийся соответствующей проблематикой и загрязненными регионами, было одно, а нынче совсем уж иное...

Итак, фрагментарность описаний чернобыльского события налицо. Можем ли мы ликвидаторам сказать про открытие постмодернистов — про клиповость их чернобыльского сознания? Попробуйте, если хотите получить по «своей экзистенции».

Ново ли это? Приоритет ли в фиксации клиповости у постмодернистов? Отнюдь. Почитайте «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки о сражении при Бородино. Его предупреждения о своей работе прямо на таковую ее особенность указывают. Конечно, термина как такового в его воспоминаниях нет, но трудности фактологического описания бородинского сражения автором раскрываются развернуто и прямо.

Так что не один я впервые встаю на этот путь. Воспоминания — это тоже экзистенция жизни. Это моя жизнь и, значит, я имею право на свои собственные воспоминания и размышления, на свои «окопы Сталинграда»: четвертый энергоблок я видел отнюдь не в полевой бинокль. Отдаю себе отчет — в «чернобыльском вопросе» я не историческая личность и не исторический персонаж, но, тем не менее, и социально типическое и особенное в моей личной чернобыльской судьбе — вполне показательны.

И еще пару слов. С одной стороны, пишу это «осовременивающее воспоминание» (термин Э. Гуссерля) о Чернобыле по «заказу» редакции, а, с другой, отдаю себе отчет, что текст этот, несомненно, — я так чувствую, — несет для меня отчасти психотерапевтический, реабилитирующий эффект. Но также понимаю, что никогда, ни один участник «тех событий» (боевых действий и т. п.) не будет «жить как все». Это нерешаемая психологическая (реабилитационная) задача. И такая грань, оказывается, есть у чернобыльской экзистенции.

2. Как я встретил Чернобыль

Я отдежурил 26 апреля 1986 года по Центральному военному научно-исследовательскому авиационному госпиталю (ЦВНИАГ), когда пришло известие, что наша смена должна остаться на службе. Возможно массовое поступление больных. Каких, откуда — не говорилось. День прошел в ожидании. Помню, что спать хотелось невероятно. К вечеру услышал то самое слово — Чернобыль, Чернобыльская атомная электростанция. (ЧАЭС зазвучало позже.) Ближе к ночи отпустили.

Наутро спустили сверху команду «готовиться», пораженные будут... Обсудив ситуацию, руководители — начальник лаборатории

функциональной диагностики Коледёнок Василий Иванович и его заместитель Захаров Валентин Павлович, — поддержали мою идею обследовать тех, кто к нам попадет, «по полной программе»: измерить и проверить «все, что можно».

Указание конкретных людей, прямо скажем, «проходных персонажей», в мемуарной литературе для меня выглядело раньше весьма странным. Сегодня понимаю, что это та малая дань, которую я могу принести на алтарь их доброй памяти.

На следующий день поступили первые вертолетчики — экипажи вертолетов радиационной и химической разведки. За ними потянулись и остальные. В общей сложности за май через наши руки прошло более 100 человек. Нагрузка по исследованиям была огромной. Каждого мы посмотрели трижды: при поступлении, через неделю-другую и при выписке.

Через пять лет, заканчивая свое диссертационное исследование, я уже мог сказать, что подобных данных не было собрано ни до, ни во время, ни после аварии. Дело в том, что на второй (3–5-й) день после начала работы и облучения люди поступали в стационар и проходили углубленное медицинское обследование. (К слову, объединенная японско-американская медицинская комиссия по изучению последствий ядерных бомбардировок в Японии начала работать лишь через 3 недели после таковых. Да и массовых данных о результатах облучения в малых и подпороговых дозах облучения практически не было.) Все обследованные относились к одной профессиональной группе, работала в один и тот же острый период аварии, в одних и тех же условиях. Результаты обследования охватывали период со второго по 30-й день с момента начала облучения с пролонгированным медицинским обследованием через полгода и через год.

Работа эта на момент защиты стала совершенно открытой. Результаты моего исследования докладывались на заседании Верховного совета СССР. Они стали основой и весомым аргументом для открытия сначала специализированного отделения радиационной медицины при кафедре военно-полевой терапии Военно-медицинской академии, а затем и Всероссийского центра экологической медицины (сейчас это Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России). Медицинская радиология ушла из моей жизни, но Чернобыль до сих пор не отпускает.

Организационно полномасштабное обследование вертолетчиков было абсолютной инициативой «снизу». Если бы мы не сделали свое дело вовремя, его бы уже никто никогда не сделал. Уходящий объект, как говорят в документальной кинематографии.

Первоначально вертолетчики «молчали как партизаны». Только дозы облучения и количество вылетов в день. Как вам 22 вертолета-вылета за день, тогда как, если мне не изменяет память, согласно постановлению по организации полетов — не более 2-х или 4-х? Да и летный день, прямо скажем, не нормативный — до 18 рабочих часов!

Потом, когда по телевизору показали общеизвестные на весь мир кадры съемок с воздуха разрушенного 4-го энергоблока, появились подробности. Высота трубы АЭС 150 метров, полета — 200 метров, бортовые радиометры на 250 рентген/час зашкаливают, температура в факеле от реактора за 80 градусов. В интернете сегодня можно найти и другие цифры высоты полетов, температуры за бортом, уровней радиации — но пафос один — залетаешь в «сауну». А надо еще зависнуть и выбрасывать мешки с песком и свинцом в реактор... Во рту постоянный привкус металла. Сам реактор светится. На вопрос — не рванет ли еще — успокаивающие слова физиков-ядерщиков: «Это нормально. Когда уровень радиации выше 10000 рентген, то идет ионизация воздуха и свечение может быть. Мужики, не переживайте, это нормально...». После таких нормальных условий к нам люди и поступали. И чем вымывать нуклиды? Да ничем: аскорбинка и поливитамины, да природное здоровье.

Практически все вертолетчики перед Чернобылем прошли Афганистан. Кто не был, прибыв на плановое медобследование через год, заодно проходили освидетельствование на предмет годности к работе в стране с горно-пустынным климатом — тогда все знали, что за такой формулировкой скрывается Афган. Так в жизни всегда: кому-то достается все сразу.

Еще одна иллюстрация. В сентябре 1986 года мелькнула в прессе заметка, что один из милиционеров, что охранял ЧАЭС в ночь на 26 апреля, получил в награду за нуклиды путевку на морской круиз на пассажирском теплоходе «Адмирал Нахимов»... и остался жив. Спасал других пассажиров. Кому что на роду написано: кто-то ни в огне не горит, ни в воде не тонет!

Так что 1986—1987 годы у меня ушли на сбор материалов.

3. Я еду в Чернобыль

«А как вы попали на фронт — или в такой переплет?» — вопрос традиционный и по-человечески понятный. Отвечу на него с некоторыми подробностями — событийными, с характерным описанием мизансцены.

Мой переход из Военно-воздушных сил в июне 1987 года в войска РХБЗ (радиоационно-химико-биологическая защита) вызвал напряжение у мамы: через пару дней службы на новом месте она мне задала вопрос, который, как я понял по ее напряженному взгляду,

ее тяготил: «А тебя в Чернобыль не пошлют?» Ответив, что не знаю, пообещал спросить. Что на следующий день и сделал. Каков же был ответ?

«И не мечтай! Это только как поощрение, только для старших офицеров и то — стоит очередь!» Такого я никак ни ожидал... Побывав же в Чернобыле, могу сегодня сказать, что так, как там — и по интересу, и по отдаче, и по задачам, и по атмосфере, — я никогда больше нигде не работал. До сих пор вспоминаю ту пору как лучшие месяцы моей жизни. И такие ощущения, впечатления и воспоминания — не у меня одного. Не спорю — у других было и другое: об этом скажу позже. Но всего этого я тогда знать не мог.

Мама была права в своих опасениях. Из 600 тысяч человек, прошедших Чернобыль за 5 лет с начала событий, более 20000 были солдаты срочной службы и курсанты военных училищ — в основном войск РХБЗ, — естественно, в первый год с момента аварии. Потом вышел негласный приказ, или гласный, — мужчин моложе 30 лет, не имеющих детей, в Зону не посылать. Я был холост, без детей, моложе 30, так что побывать в Чернобыле мне никак не светило и я про него, как мне посоветовали, и не стал мечтать.

В июне 1988 года, сидя за чашкой чая, который мы традиционно пили всем коллективом в 11 часов утра, замначальника отдела задал мне по-военному мило вопрос: «А ты что здесь делаешь? Почему не на медкомиссии?» «Какой медкомиссии?» — переспросил с удивлением я. «Чернобыльской!» — был мне ответ. «Так я об этом ничего не знаю...» «Теперь знаешь. Пей чай и езжай в поликлинику. С июля — ты в Чернобыле.»

Как-то спустя много лет обменялся историей своего отъезда с еще одним ликвидатором. Тот скептически заметил: «Надо было зимой ехать. Безопаснее». «Почему?» — переспросил я. «Пыли нет, все снегом засыпано». Признаюсь, я опешил: будучи уже кандидатом наук по чернобыльской тематике, я до такого не додумался. Любая экзистенция жизни — не проста для понимания.

Так, в первое время мешки с песком и свинцом просто выкидывали из кабины вертолета через открытую дверь. Приходилось зависать в факеле над кратером (это чернобыльский сленг тех дней!) разрушенного четвертого энергоблока. Лишь спустя дни наконец-то «додумались» (сделал это главком ВВС Киевского военного округа генерал-майор Н. Т. Антошкин) складывать их в парашют, закреплять его на внешней подвеске вертолета и сбрасывать все разом, зависнув лишь на какие-то мгновения. И работа пошла быстрее, и вертолетчики меньше облучались.

Аналогичная ситуация, что прошло в сводках по телевидению, сложилась на АЭС «Фукусима» в Японии. Если вы помните

по репортажам, пожарные со своих машин долгое время не могли «добросить» воду до «разгоряченных» реакторов; высокие уровни радиации не позволяли подъезжать на необходимое расстояние. Наши специалисты — бывшие чернобыльцы, — им сразу посоветовали: «Нечего сидеть в машине, подъехал, включил водяную пушку и мотай оттуда на безопасное расстояние. Как вода закончится — подбежал, сел и уехал!» Не смешно, хотя и очевидно, если смотреть с другого берега или опосля.

Своему отъезду в Чернобыль я был рад. Появилась возможность, как я надеялся, посмотреть на все воочию, почитать отчеты, поработать над диссертацией плотнее...

4. Ликвидаторы: антропологические эскизы

Мои сослуживцы по НЦ МО СССР в Чернобыле в 1988 году, волею судьбы ставшие «великими радиологами», во многом были людьми примечательными. Естественно, большинство — научные сотрудники своих профильных институтов, все люди ученые, но, за частую, весьма далекие от радиации.

Надо понимать, что почти всех подготовленных и не очень — «выжгли» (тоже чернобыльский сленг) еще в первые месяцы, в первый год. Для оценки, косвенной, конечно, назову тиражи книг по радиобиологии и радиационной медицинской патологии в советское время — 300 экземпляров. Пособий по радиационному контролю для работников санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) — до 1000. Массовые издания общего содержания (от столовых до радиологии) для СЭС — 20000. Так что к тому времени мало уже кого «в живых осталось».

Я подружился с Петром Алексеевичем Порохиным — большим специалистом по системе подрессоривания танков, — колесившим каждый день на БТРе по 30-километровой Зоне («танкист — вот и катайся на бэтээре»), собиравшим пробы грунта, воды и воздуха. Делом этим мог заниматься любой рядовой, но отнюдь не заслуженный изобретатель СССР (более 6 внедренных изобретений). Пообещали дать после Чернобыля творческий отпуск на завершение диссертации. Отдельная песня — наша с ним эпопея с ремонтом «воздухоотборников»: врач и танкист, как вы догадываетесь, еще те специалисты.

И таких чудес было немало. Рядом работал Володя Храпов, только что вернувшийся из Никарагуа, вечерами по нашей просьбе читавший вслух стихи Лорки. Чем он там занимался, мы не спрашивали, да и он не рассказывал.

Еще один коллега ходил с печатной машинкой — талантливый финансист, — детский писатель, автор книжек про героических мальчишек — учащихся суворовских училищ.

Полуанекдотичные биографические истории «невольных ликвидаторов» можно было бы продолжить, но таких на любой отечественной войне в избытке, когда в строй встают от мала до велика.

Был, конечно, и второй полюс «кадровой антиномии». Вменияемых людей тоже было немало, костяк, конечно же составляли специалисты из РХБЗ, из системы Гражданской обороны и институтов, связанных разработкой плановых тем по защите человека, вооружения и техники. Экономика процесса также исследовалась и анализировалась. Это миф, что при социализме денег не считали.

Чернобыль, при кажущейся его локализованности в 30-километровой Зоне, потребовал общегосударственных подходов и решений, фронтального масштаба всего объема работ. Не надо забывать, что в Чернобыле работали люди, имевшие реальный боевой опыт, работали настоящие фронтовики. Достаточно напомнить о Валентине Ивановиче Вареникове — «знаменосце победы» и руководителе чернобыльской группировки войск. В мае 1995 года Московское городское объединение «Союз Чернобыль» (в то время я был помощником тогдашнего его председателя — М. А. Суздальцева) чествовало чернобыльцев — участников Великой Отечественной войны, — в Москве их насчитывалось более 100 человек. Поэтому вполне закономерно, что во всей организации ликвидационных работ была какая-то большая внутренняя человеческая правда. И это все чувствовалось.

Конечно, перед отъездом я спрашивал бывалых коллег «что да как...». Но ответ был одинаков у всех: «Другое время было... Про сейчас ничего не скажу. А вообще, лучше не суйся, куда не надо!» И добавляли с улыбкой: «Если получится». Либо что-то свое рассказывали.

Мой начальник отдела, Виктор Анатольевич Лисовой, в Чернобыле был «выводящим». Тоже экзистенциальная должность — выводить, выпускать на крышу станции людей, что сбрасывали с нее в разрушенный реактор разбросанные остатки топлива. Когда принимал рабочее место, ему показали стол, пару стульев и передали оборудование: громкоговоритель, называемый в простонародье «матюгальником», что работает от батареек или аккумуляторов, рынду — колокол, снятый с какого-то корабля, что стоял уже на приколе на Припяти, и подвешенную рельсу и к ней ломик. Все, что надо, чтобы сообщить «биороботам» о том, что пора возвращаться назад.

Биоробот — это самоирония ликвидаторов. На крышу вывели настоящих роботов, о чем незамедлительно сообщили по телевизору на всю страну, но из-за высоких уровней радиации роботы «сошли

с ума». Это к вопросу — а удалось ли человечеству создать искусственный интеллект? Одно робототехническое чудо даже пришлось столкнуть в развал. Так что вопрос об устойчивости вооружения и техники к воздействию радиации стал отнюдь не праздным.

На вопрос Виктора: «А не чересчур ли много всего для одного сигнала?» — философски промолвили: «Да так, на всякий случай!» — «А случаи были?» — «Пока нет».

«И что ты думаешь? — продолжает Виктор. — Выпустил людей, пора возвращать, а громкоговоритель еле слышно хрипит. Я за колокол — веревка отрывается. Я к рельсине — ломика нет. Кто-то перед выходом на крышу, видимо, захватил... Пришлось выбегать на крышу и орать! Еле увернулся от людей — чуть не затоптали. Всем же рассказали, показали: и в громкоговоритель гаркнули, и в колокол ударили, и по рельсу долбанули! А тут вдруг выпускающий сам выскочил и орет! Вот тебе и страховка от отказов. Лишнего ничего не бывает в таких ситуациях».

В Чернобыле я повстречал Александра Александровича Носача — человека, влюбленного в Чернобыль и в инженерную машину разграждения (ИМР). Для меня встретить человека — это не просто познакомиться. Когда абхаз говорит женщине: «Сара бара бзиу узбойт!» (пример Я. В. Чеснова) — «Я тебя вижу!», — это значит, что он ей в любви объясняется. Встретить человека — отчасти в него влюбиться. Чувства мужского приятия, симпатии, уважения и восхищения у нас с ним были взаимными, хотя я был всего лишь старшим лейтенантом, а он уже подполковником, кандидатом наук и начальником отдела в военном НИИ. Александр Александрович бывал в Чернобыле регулярно. Попал туда еще в 1986 году. Прошел пекло. Его любимым делом была разработка ИМР: это машина-таран и манипулятор, созданная на базе танка. Он же меня познакомил с ее главным конструктором. Походя, за столом и за стаканом я коренным образом поменял концепцию ее конструкции, рассказав о некоторых полученных мною к тому времени результатах. Это тоже метафизика встречи на привале.

Вот один эпизод. «Михаил, хочешь съездить в отстойник?» — спросил меня А. Носач. «О чем речь!» — «Тогда поехали!»...

Подъезжаем к отстойнику, где стоит убитая на 4-м энергоблоке и промплощадке ЧАЭС техника, пост охраны занят каким-то своим делом — идиотов-то соваться к технике нет, — свободно проходим... Мощь окаменевшего железа и выброшенных денег впечатляет: бульдозеры Камацу, экскаваторы, ИМРки, бетононасосы и пр. — ряды за рядами. Гляжу на покореженные ИМР, для меня они своими башнями чем-то похожи на батискафы, становится не по себе. Никогда не видел живую сожженные в мясорубке войны танки, но ощущение

ния, полагаю, те же: боя ты не видел, но пекло, что прошли железо и люди, представлять не хочется. И одно желание — посмотреть на мужиков, что в них работали.

Вдалеке забегала охрана — заметили нас. Собралась в кучку. О чем-то заспорили. А!.. — кому к нам идти. Отделилась пара посланцев. Неуверенным шагом приблизились метров на 100. До нас им еще целый стадион. Кричат что-то. Машут руками. Мы им в ответ — идите, дорогие, сюда. Подошли еще чуть ближе. Можно разобрать слова. Отвечаем хором: «Ученые мы!» Те в сердцах плюют и возвращаются к начальству докладывать. Занимаемся своим делом. Александр Александрович «обкатывает боем» своих новых сотрудников — показывает, что остается от ИМР. Я же предложил рационализацию: наклеить медицинский пластырь на борт техники, оторвать, слепить его пополам и вези спокойно на анализ. Площадь пластыря известна, пересчитывай в общую дозу... До этого отскабливали краску на квадратном дециметре. Мы как раз апробировали идею на работоспособность.

Охрана грозной тевтонской свиньей — впереди начальник, подталкиваемый сзади, по-видимому, замами, за ними остальные, двинула к нам. К середине поля это был уже неуверенный журавлиный клин. Видя, что мы спокойно стоим, все-таки подошли. По глазам и поведению было очевидно, что все для них внове — и пропуск «всюду» у А. А. Носача, и техника. Да и кому надо здесь лазить — искать приключения. Я, конечно, потом проверил в доверительном разговоре свою гипотезу как прием-передача дел у них происходит. Хочешь убедиться в наличии учетных единиц — иди, считай. Но почему-то все новые начальники верили на слово старым и принимали технику по бумагам.

Наша группа была весьма разношерстна. Опытный А. Носач, для которого каждый бульдозер или ИМР был живым: «На этой я работаю... на этом мы вот это делали...». Заслушаешься. Прямотаки Харон: мы неофиты, что он сюда в страну бессмертных подвигам перевез через реку небытия и живые жители с живого берега — охрана. Чувства были такие, что нас, меня, в этом месте, в эти минуты нет ни среди живых, ни среди мертвых. Воон там — где домик охраны, — пространство жизни и безопасности, а здесь — кладбище-стоянка живых Титанов. Сложно описать.

Это второе ощущение «разрыва», которое меня посетило в 30-километровой Зоне. Первое я пережил въезжая в нее один — пустой автобус ПАЗик, водитель не виден за перегородкой. Середина июля. Зеленые поля. Пустые. Высокое украинское разнотравье. Загляденье. И вдруг понимаю, что там за колючкой, которую минут как десять назад мы пересекли, на Большой земле во всю кипела

жизнь. Поля засажены. Работает техника. Ездят люди, а здесь тишина, раздолье и никого, и ничего... Красиво... аж не по себе.

Через лет 15 я вновь увидел «чернобыльские поля». Пустые поля как в 30-километровой Зоне. Какой это Чернобыль? Духовный? Управленческий? Партийный?

Здесь уместна еще одна миниатюра. В чернобыльскую деревню, так как находится на радиоактивно загрязненных территориях «с правом на отселение», из-за того, что в ней платят «гробовые деньги», по моему, по 500 руб. на человека в месяц, то в нее потихоньку «собираются» люди со всей округи. Для местных это живые, большие деньги.

Вернемся на чернобыльскую трассу. Через какое-то время она изменилась. Дорога стала влажной. Я увидел поливальные машины — пылеподавление одна из главных задач в Зоне летом. Все обочины преобразились. Их усыпали респираторы. Обычные одноразовые марлевые, что продаются в аптеках сегодня, назывались они почему-то «Лепесток». Вот и бортовая машина впереди с партизанами — так величали призванных с гражданки на военные сборы. Даже колонна. Народ сидит угрюмо на лавках в кузовах бортовых машин, на шее «Лепестки». То один, то другой снимают их, выкидывают за борт. Те кружатся и падают на дорогу, их подхватывает ветром от машин и несет на обочину, где они застревают в траве. Тысячи лепестков. Едешь, едешь... а они лежат, лежат и лежат. «Люди и судьбы. Люди и судьбы. Люди и судьбы...» — дребезжит подвывая двигателем разгоряченный макушкой лета автобус.

Жаркое июльское солнце. Бескрайние украинские поля без следов человеческой руки. Влажная в мареве дорога с белыми обочинами до горизонта. Так меня встретила Зона.

Продолжение следует